

## Ю. АЙХЕНВАЛЬД

### Заметка о Шопенгауэре

Философская критика давно уже подметила в системе Шопенгауэра роковые противоречия, которые отнимают у нее цельность и надлежащую силу. Достаточно сказать, что он далеко не преодолел даже того материализма, против которого мечет одни из самых ядовитых своих стрел. Он не вышел из заколдованного круга своих противоречивых утверждений: материя — представление познающего, а познающее — продукт материи. «Единственный законный наследник кантовского престола», он не довел до конца принципов идеализма и трансцендентальности и вообще оставил в своем учении непримиренные и непримиримые грани.

Но так же давно известно, что подходить к философии Шопенгауэра с одним логическим критерием было бы несправедливо и неправильно. Великий пессимист сам хорошо видел свои противоречия и в этом отношении не нуждался в чужой критике. Человеческая истина сама по себе, какой бы философ ее ни представлял, казалась ему по существу и вовеки противоречивой: истина не система. Есть пункты, до которых едва достигаю наши идеи; о разрешении же загадок не может быть и речи. И пусть логика избличает и остается неудовлетворенной, — зато психология констатирует духовную сумму внутренних настроений, глубоких идей, орлиный полет мысли; и все то, что может пережить и передумать гениальная личность, само по себе драгоценно, — все равно будут или не будут приведены к единству эти рассеянные бриллиантовые крупинки. Отпечаток духовных сокровищ лежит на всем, что писал Шопенгауэр, и потому на весах его славы высоко поднимается чаша с его логическими противоречиями и нестройностями. Он на первых парах ослепляет; море мысли расстилается перед нами, и объемлет нас какая-то атмосфера гениальности, вызывающая трепет; поражают его прозрения, его способность находить сокровище ядра вещей, хотя бы и мелких; гений объяснения, он проливает свет в темные глубины, и мудрость, сама мудрость глядит на нас со многих его страниц. Философ-художник, мыслитель красоты, он догадкой и чуткостью своих интуиций восполнял то, в чем космические тайны отказывают уму дискурсивному. В свой тихий кабинет сводил он нити всего мироздания и как бы держал их в своей руке; бесконечные мировые страницы он объединял в цельную книгу. Действительность во всем разнообразии своих проявлений давала ему неиссякаемо-богатый материал, на котором он не уставал проверять свою отвлеченную философию. Как мы высказались уже в другом месте, эти глубокомысленные отзвуки на естественный голос жизни, это верное эхо конкретно существующего вполне понятны именно у Шопенгауэра. Если мир, как он учил, — осуществление воли к жизни, то все, что происходит в мире, дела людей, и важные, и ничтожные, события истории и злобы дня, законы природы и уставы общежития, личное и общественное, — все должно быть окрашено этим бессознательным и могучим стремлением к жизни, и все, таким образом, должно иметь объяснение в глазах того, кто провозглашает, что мир — воплощенная воля. Философия рационализма и панлогизма неприменима так наглядно ко всем сторонам реальности, как философия воли. Ибо трудно в неразумном, на которое столь щедро жизнь, увидеть порождение разума; трудно бессмыслицу понять из мысли. Шопенгауэр же, который в основание бытия кладет не дух, не разум, а слепую волю к жизни, чудовищный и голодный инстинкт, с точки зрения своей системы легко проникает в смысл, или бессмыслицу всякого отдельного явления. Ему не приходилось думать и заботиться о теодицее...

Иррациональное и нелепое, странное и мелкое, все то, чем жизнь отклоняется от идеи,

от идеала, — все это было слишком знакомо и близко Шопенгауэру еще и потому, что в нем самом, в его собственной личности, гнездились резкие противоречия и возвышенное отличало его не более, чем низменное. Природа его не была гармонична, его эмпирический характер значительно уступал характеру умопостигаемому, и чтобы найти его подлинное человеческое существо, надо было разбивать жесткие и темные оболочки его людских слабостей преодолевать непосредственно возникавшую антипатию к ним. Но именно это сочетание разнородных и разноценных черт и создавало его удивительную своеобразность, и благодаря ему Шопенгауэр был живой иллюстрацией к самому себе, к своему учению о примате алогической воли, к своему утверждению о производности и второстепенности интеллекта. Необыкновенно зрячий был у него ум, но над этой беспримерной зоркостью все же брала верх слепая воля, и это она, как всегда бывает, властвовала над своим поводырем... Вот почему есть известная внутренняя необходимость в том, что Шопенгауэр был таков, каким он был, и если человечеству суждено развешивать и осуществлять свои возможности в виде знаменательных типов, то должно было найти себе воплощение и нечто подобное вдохновенному философу воли.

Он заплатил обильную дань житейской повседневности, мелким интересам существования, в нем были зависть и злоба, и корыстные побуждения, и когда однажды возникла пред ним опасность потерять имущество, он, молодой и гениальный, пришел в отчаяние, грозил сестре покончить с собою и должен был от нее, девушки, выслушать благородную отповедь, что будь она мужчиной, то из-за отсутствия денег она не бросилась бы даже со стула, не то, что с моста...

Свою причастность малому, свои мертвые точки Шопенгауэр мучительно сознавал и сам, и в одном стихотворении он жалуется на цепи, которые пригвозждают его к земле. «О сладострастие, о преисподняя, о любовь — неутолимые, непобедимые! С высот небесных совлекли вы меня и бросили во прах, и вот я лежу в оковах. Как хотелось бы мне воспарить к престолу вечности, видеть свое отражение в зеркале верховной мысли, витать на эфирных высотах, пролетать мировые пространства, и в благоговении, и в изумлении, то в порывах восторга, то в сдержанном смирении, внимать одной только вышней гармонии! Как хотелось бы мне забыть о прахе низин и не бранить глупцов, и не завидовать великим, и не смеяться над слабыми, и не глядеть на злых, и только лицедреть и только любить в творениях творца и в предметах душу. Но, узы слабости, вы тянете меня книзу, и оплетает меня цепкая паутина ваших бесчисленных нитей, и всякие порывы к высоте кончаются для меня падением».

Но эта, для всех трагическая, «власть земли» не отнимала у Шопенгауэра спокойной уверенности в том, что истинной родиной его духа является философия, проникновенное искание истины. «Если я иногда чувствовал себя несчастным, — говорит он, — то это потому, что я считал себя за другого. Я принимал себя, например, за приват-доцента, который не имеет слушателей и которому не удастся стать профессором; или за того, о ком дурно отозвались какой-нибудь филистер, какая-нибудь кумушка; или за проигравшего судебный процесс об оскорблении личности; или за влюбленного, к которому неблагоприятна та или другая девушка; или за пациента, которого болезнь удерживает дома, — вообще, за кого-нибудь из людей, страдающих от подобных неприятностей. На самом же деле это был не я: это был посторонний материал, из какого в лучшем случае был сделан мой сюртук, который я одно время носил, а потом сменил на другой. Но кто же я в действительности? Я тот, кто написал «Мир как воля и представление» и дал решение великой проблемы бытия, — решение, которое современники замалчивают, но которое воспримут мыслители грядущих поколений. Вот кто я, и что же может приключиться с таким человеком — в те годы, которые ему суждено еще прожить на земле?»

Так понимал он себя, так держал он в себе непоколебимую уверенность в своем величии, — и тем обиднее было для него, что современники долго не ценили, даже не замечали его. Кто сказал, тот хочет, чтобы ему отозвались; но вот Шопенгауэра замалчивали. Он написал великое и думал, что этого слишком достаточно; но оказалось, что мало еще написать, — надо, чтобы прочитали. А его не читали. И это одиночество гения, это великое

горе от ума много способствовали мизантропии Шопенгауэра и еще больший отпечаток злобности придали его угрюмому лицу. Долгое время ждал он своих апостолов, опоздала его слава, и только старость принесла ему, как он выражался, «белые розы». Ярких роз молодой славы ему не суждено было видеть.

Холодность и равнодушие, которые он встретил, тем более поразительны, что уже одна форма его творчества должна была бы победить если не зависть, то невосприимчивость. Можно не принимать философии, — но как отказать поэзии? А ведь Шопенгауэр — поэт. Как могли отвернуться от чар этого стиля, прозрачного и прекрасного, от этой архитектуры, которая из общедоступных материалов грамматики, из слов обыденных, воздвигала дивные памятники, стройные и легкие чертоги предложений и периодов? Отвергавшие Шопенгауэра какое совершали оскорбление величества, оскорбление красоты! Читатели, приученные к трудности и запутанности философского языка, к схоластическим приемам изложения, ко всяческой искусственности и туману, недоверчиво отнеслись к спокойному течению простой речи, к умению одевать самые сложные проблемы в художественную оболочку. У Шопенгауэра было светло, а привыкли думать, что глубина непременно должна быть темной.

Внешняя красота шопенгауэровских творений находится в органической связи с тем, что самый метод его философского мышления не оторван от непосредственных восприятий живой действительности. Его философия еще не остыла от жизни. Его мысль не отделилась от созерцания. Он чувствует себя вполне свободно в сфере отвлеченных понятий, но то конкретное и наглядное, что составляет их теплую сердцевину, никогда не улетучивается для него на высотах абстракции. Истина открывается ему в интуиции. И если Кант, например, прилагает все усилия к тому, чтобы каждый тезис обставить возможными ограничениями, показать его отношение к другому, обезопасить себя логическими предосторожностями, то, наоборот, философия Шопенгауэра, в роскошной яркости своих созерцаний, имеет в себе нечто царственно-беспечное и смелое, сохраняет весь аромат и свежесть непосредственного опыта и чувства, — и как он сам признавался (между прочим, в письме к Гете), каждый предмет, на котором он останавливал свои взоры, вещал ему тысячи откровений. Истина была для него Афродитой, которая рождается прямо из пены морской, из моря жизни.

Живая метафизика Шопенгауэра хотя и имеет в своем преддверии гносеологию, но проникает гораздо дальше, чем дает ей право последняя. В самом деле, мир для него не только представление, но даже сновидение; мы не знаем и не можем знать действительности, потому что лежит на ней обманчивая пелена Майи, и мы обречены витать в сфере одних только призраков и миражей. Тема индусов и Кальдерона «жизнь — сон», жизнь — мимолетное сновидение грезящего духа, — эта мысль должна уже самой теории познания сообщать колорит романтической меланхолии, открывать дальнейшие горизонты пессимизма. Правда, в этих же гносеологических пределах выступает уже религиозная, отрадная мысль о том, что в силу идеальности пространства и времени всякая множественность и разлученность являются лишь иллюзией, а на деле существует одно великое Одно; времена и пространства, преграды вещей, расстояния мира и человеческих душ исчезают перед этим сознанием всеединства. Нет разделения и далей, нет многого, все едино и сосредоточено, и это единство — мировая воля. Но к такому признанию, к этому провозглашению воли вещью в себе, внутренней сущностью бытия, Шопенгауэр мог прийти лишь путем непоследовательности: его гносеология обрекает его на агностицизм, как она вообще обрекает человеческий разум на пребывание в ограниченном царстве феноменализма. Теория познания уполномочивает Шопенгауэра сказать, что мир — мое представление, но не то, что мир — воля. Наш философ не имеет права на все заглавие своего основного труда. Если Шопенгауэр выдвигает волю как вещь в себе и этим думает поправить Канта с его отказом от интеллектуального проникновения в эту вовеки неведомую вещь, то он может так поступить лишь потому, что над гносеологией одерживает у него победу его метафизическая потребность, — та непобедимая и великая потребность, которую он провидит в каждом человеке и которая так или иначе должна быть удовлетворена. Можно отрицать метафизику, но нельзя не быть метафизиком. Творец «Мира как воли и

представления» мало различает строго диалектическую, выдержанную и систематизированную метафизику от тех сверхэмпирических соображений, догадок и чаяний, которыми всякий интуитивно и художественно восполняет скудость своих эмпирических знаний, или, вернее, свое эмпирическое невежество, — но во всяком случае можно признать только счастливым тот логический проступок, то незаконное обстоятельство, что Шопенгауэр не выдержал своего агностицизма, разбил феноменалистические рамки и сделал удивительную попытку заглянуть за пределы явления, рассеять мираж *principii individuationis* и увидеть лицом к лицу таинственную вещь вещей, *Ding an sich*. Он доказал и всю психологическую неизбежность такой попытки, алкание ума, то аристотелевское «удивление», из которого рождается философия. И своеобразный оттенок серьезности и торжественности придает метафизике Шопенгауэра его учение о том, что истинный гений-вдохновитель музагет философии, это — смерть. Если бы не было смерти, никто не думал бы о жизни.

Именно волю принял Шопенгауэр за вещь в себе потому, что он строил, свое мировоззрение, исходя от человека, по аналогии с ним. Сократовскому принципу самопознания он следовал открыто и смело и не только не скрывал антропологического и антропоцентрического источника своих учений, но и видел в нем поруку их истинности, преимущество своей философии перед другими. Мы знаем только себя, и от себя уже можно откидывать радиусы ко всему остальному (если только это остальное есть). Тот фокус, в котором сходятся чистые лучи мирового целого, это — наша психика, и от нее заключаешь ко всему. Именно эта психика вынуждает нас признать общий психизм вселенной, где есть одна душа, там душа — все, и все — душа. Тот, кто пишет «Критику чистого разума», и железо, покорствующее зову магнита, и ручей, неизменно следующий своему руслу, и цветок, протягивающий свои лепестки к солнцу, — все это одинаково движется одной и той же волей своею, все это одинаково подчиняется законам вселенской психики. Философия Шопенгауэра принадлежит к великим учениям панпсихизма. Все, что поверхностному наблюдателю представляется косным веществом и мертвой материей, он воззвал к жизни; и если человек — микрокосм, то и космос — человек, человек в большом виде (*Macranthropos*).

Но в человеке малом и в человеке-мире Шопенгауэр одинаково усматривал больше хаотическое, нежели космическое начало. Слепой, неутолимый, непобедимый порыв к жизни, вечный голод бытия, дикое и необузданное чудовище воли царит во вселенной, и всякий разум только служит ей, воле, является ее бледным чадом. Разум произошел от неразумного, и это не он сказал первое слово. В начале было не Слово. В провозглашении иррационального основой бытия заключается главное отличие Шопенгауэра от послекантовских идеалистов, — не только от панлогиста Гегеля и Шеллинга, но и от Фихте, чье безусловное *я* представляет собою, правда, волю, но волю светлую и в своем внутреннем существе тождественную с разумом. У Гегеля мир возникает из тишины и ясности, из меры и логического порядка, и в спокойном лоне идеи рождается жизнь, и все действительное разумно; у Шопенгауэра и всякое бытие в безумных порывах борения исходит из какой-то мрачной бездны диких и неукротимых сил. Философ мирового Беспорядка, таким образом, уже в самой первосущности бытия усматривает зерно трагизма. Не идиллия саморазвивающейся разумности — мир, а вечная трагедия, и страдание не случайность, а неизбежная стихия.

Историки философии отмечают, что в данном отношении Шопенгауэр своеобразно примкнул к одному из самых глубоких убеждений человечества. Фолькельт напоминает, что об иррациональности и трагичности вселенной учил Анаксимандр, когда в самом факте индивидуальности признавал некую вину; все мышление Гераклита — борьба с иррациональными тайнами космоса, самая гармония которого именно и состоит в постоянной напряженности, в вечной борьбе и междоусобице элементов: к любви присоединил Эмпедокл вражду; загадочный принцип меонизма высказал Платон; иррациональное дышит в философии Беме; и даже гегелевские отрицание и противоречие,

хотя философ и выдает их за стихию разума, на самом деле знаменуют собою, под личиной логики и в ослабленной степени, все тот же неразумный элемент мироздания.

Но что у других мыслителей было только одной из сторон общего целого, то у Шопенгауэра заняло господствующее место и было возведено на степень начала всех начал. И если он не раз должен был все-таки отступать от иррационализма, ослаблять алогическую природу мирозидительного принципа и принимать момент платоновской, вечные идеи и объективацию их во времени, то, во-первых, и сюда пришел он дорогой противоречий, а, во-вторых, это мало влияет на общий иррационалистический дух его философии.

В основе мира таится нечто бессмысленное и беззаконное, — отсюда, мир не может не лежать во зле. Философия воли силой внутренней необходимости делается философией пессимистической. Для нее мир и человек обречены. Нет спасения от злой сущности бытия. И, быть может, именно в связи с этим находится отрицательное и насмешливое отношение Шопенгауэра к истории и историзму: он исповедует, великий пессимист, что мир всегда и везде — одно и то же, что всегда есть все, и оттого нельзя возлагать никаких надежд на исторический процесс и прогресс; исторические события, комбинации фактов, это — лишь перестановка одних и тех же камешков в жизненном калейдоскопе; на деле ничто не изменяется, и нет никакой разницы между прошлым и настоящим, между настоящим и будущим. Все сосредоточено, нет будущего, и, значит, для оптимизма закрываются всякие перспективы. Идти некуда, как ни откуда мы и но пришли. Единое зло вовеки неудовлетворимой и страдающей воли объемлет нас, и каждая боль, и каждая мука только манифестирует мировую сущность. И лишь в том дается нам утешение (если мы можем его принять), что уравниваются мировое страдание и мировая вина: мы терпим то, что заслужили. Утверждение воли — преступление; страдание — наказание. Справедливость не оскорблена. И потому шопенгауэровское мировое страдание не «диаволов водевиль» Достоевского, а приобретает характер какого-то возмездия, служить искуплением некоей вины. У Шопенгауэра — виноватая природа. Но только этот ад и тьму великой боли прорезают отдельные лучи сострадания. В жестокий мир входит доброта, и такое своеобразное и отрадное впечатление производит то, что гимны ей поет именно Шопенгауэр, гениальный брюзга, — он, чьи уста так часто изрекали брань, хулу и насмешку. Гений, он ставит гениальность ниже доброты, и гаснут для него все светочи ума, все Бэконы Веруламские перед солнцем любви. И знаменательно, вообще, что с такой беспощадной зоркостью проникнув в темную стихию людей и мира, вскрыв иррациональные корни всех явлений, Шопенгауэр сохранил однако глубокое благоговение перед мировыми и человеческими ценностями, неуспокоенное удивление перед красотой и добром, перед чарами искусства, перед добрым и талантливым человеком. В самом изложении своем так часто цитируя великих авторов, щедрую и добровольную дань платя бессмертным писателям умершего античного мира, он как бы общается с теми, кто воплощает собою человеческое достоинство и благородство и по праву причисляет себя к сонму тех *rari nantes in gurgite vasto*, которые незакатным светом светят над вечной сменой людских поколений.

Пессимизм у Шопенгауэра — не только вывод из основного философского утверждения: он в такой же степени — результат глубоких и пристальных наблюдений над жизнью. Всем памяты те, мрачной красотой запечатленные страницы, на которых он рисует господство злобы, случая и глупости и то, как горестно и тревожно протекает жизнь людей из бесконечного прошлого в бесконечное будущее.

Но, как мы уже видели, он дает нам не только картину страдания: у него и телеология страдания, у него призывы к искуплению дящейся адамовой вины. На двух дорогах можно искупить ее, двумя подвигами духа: аскезой и гениальным созерцанием, — отречением и красотой. Святой и художник — вот наши вожди и спасители. Пойдем ли мы за первым или за последним, во всяком случае мы можем сподобиться преодоления своей воли, т. е. отринуть жизнь во имя блаженства нирваны.

Если над человеком возвышается сверхчеловеческое, то и над миром есть сверхмировое, и Шопенгауэр глубже и гениальнее всех философов показал, что вселенная не

конец и предел, а скорее только начало, что мир — материал, который надо преодолеть и переработать в нечто высшее. Познав себя, воля себя отвергает, и пройдя через это горнило самопознания и самоотречения, через этот очистительный огонь, она совершит свое таинственное назначение, последний смысл и цель которого неведомы ни для кого.

Тому, чтобы на темное и неведомое пролить щедрые лучи света и объяснения, в пределах человеческих, много способствует Шопенгауэр. И оттого на высотах духа его имя навсегда останется одним из самых ярких и прославленных, и блеск его будет переливаться особенно светлыми лучами как раз на черном фоне шопенгауэровского пессимизма. И когда через несколько месяцев исполнится пятидесятилетие кончины Шопенгауэра, с новой энергией будут совершать духовные паломничества на его могилу и живые припомнят его угрюмый образ — брентную и некрасивую оболочку бессмертных и прекрасных откровений.